

ВЫНОСЧИК

ТРИ ВОЙНЫ ВАДИМА ГОРСКИХ

СВО

ТОМ ТРЕТИЙ

«— Стоишь? — Стою, ма»

Андраник Алавердян

Алавердян Андраник

ВЫНОСЧИК — Том 3. СВО

«Автор»

2026

Андраник А. А.

ВЫНОСЧИК — Том 3. СВО / А. А. Андраник — «Автор», 2026

ТОМ ТРЕТИЙ. «СВО (война без статуса)» Март 2023-го. Эшелон на юг — третий за жизнь. Вадиму Горских сорок семь, и он едет воевать рядом с теми, кто годится ему в сыновья. Дома его зовут ведущий разработчик. Здесь — Батя. Он умеет то, чего не умеют двадцатилетние: копать в мерзлоте, слушать тишину и выносить людей. Он носит воду на передок и учит молодых писать письма матерям. В нагрудном кармане — три талисмана: письмо 1995 года, горсть адлерской земли и берёзовый лист из Дудкина. Против сердца. Здесь будут нулевые линии, где нельзя поднять голову. Небо, которое работает против тебя. Авдеевка и грязь по грудь. Кабан — таксист с телефоном, где одно-единственное видео: дочь читает стихи. Будет последнее «Батя, беги!» — и долг, который пишут бумажными письмами чужому ребёнку. А в мае, под День Победы, мать соберёт посылку — и получит вместо неё треугольник. У него было сорок девять лет, три войны и одна роща, где его ждут. «Горских не носят. Горских — держат».

© Андраник А. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава Сорок девятая. Дед	5
Глава Пятьдесятая. Эшелон	8
Глава Пятьдесят первая. Нулевая Линия	11
Глава Пятьдесят вторая. Фруктовая Роща	14
Глава Пятьдесят третья. Вода	16
Глава Пятьдесят четвёртая. Небо Работает	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Алавердян Андраник

ВЫНОСЧИК — Том 3. СВО

«— Стоишь? — Стою, ма» — переписка длиной в два года и всю жизнь.

Автор: Алавердян Андраник Аришикович

Глава Сорок девятая. Дед

Учебный центр стоял на голом ветру, и рассвет приходил туда первым — раньше людей, раньше подъёма, раньше горна. Небо на востоке наливалось ровным серым золотом, как наливается вода в бачок жестяного умывальника: нехотя, со дна, — и вот уже весь горизонт светился изнутри, и длинные тени от вышек лежали на плацу поперёк, ровно, как строки, которые кто-то прочертил линейкой. Вадим стоял у окна казармы, не двигаясь, и смотрел на этот рассвет, и думал, что рассветы, оказывается, не старятся. Всё старится — лица, автоматы, страны, а рассвет над плацем такой же, как в Балтийске девятьсот девяносто пятого, — тот же цвет, та же тишина перед горном, то же чувство, что день, который начинается, будет длиннее всей жизни.

Ему было сорок семь. В казарме спали пятьдесят восемь человек, и младшему было девятнадцать.

Он попал сюда в конце марта, через неделю после того, как в военкомате, в кабинете с картиной «трое богатырей» на стене, майор медицинской службы, женщина с усталыми добрыми глазами, читала его документы молча, дольше, чем читают, — и, закрыв папку, сказала не «годен», а проще: — Ну что с тобой делать, Горских. Пойдёшь, всё равно пойдёшь. Иди.

Он пошёл. Иному в его возрасте подписывали бумаги с боем, со справками, с оговорами; ему подписали за двадцать минут — ветерану двух чеченских, с военным билетом, в котором стояли печати, каких у молодых не было и не будет. В коридоре военкомата он позвонил матери, и мать выслушала его молча, а потом сказала только: — Как отец бы. Он бы тебя не держал. Я тоже не буду.

Горских не носят — Горских держат. Держать — значило отпустить.

В казарме он спал на второй ярусе, потому что нижние места разобрали мальчишки, — и не спорил. В первый же вечер к нему подсел командир взвода, лейтенант двадцати трёх лет, сёл напротив, посопел и спросил, откашлявшись: — Товарищ сержант... вы же раньше служили. Ну, вообще... как оно там? — и Вадим понял, что лейтенант боится не войны — боится не знать, как спрашивать у тех, кто знает. Они проговорили час, и на прощание лейтенант сказал: — Вы, если что, поправляйте меня. Я не обижусь. — И это были самые мудрые слова, какие Вадим слышал за месяц.

Мальчишки звали его «дедом» — сперва за глаза, потом в глаза, и в этом слове не было армейской злости, не было казарменного «дедушки» девяностых; оно звучало по-домашнему, как в деревне: дед — тот, кто умеет. Двухлетние приходили в армию нового времени — с наушниками, с наколотыми на запястьях молитвами, с привычкой проверять телефон каждые четыре секунды; телефоны у них отобрали в первый же день, и трое суток взвод ходил, как отрезанный от розетки, потирая пустые карманы. А потом — ничего, отошло. Человек, выяснилось, отходит от всего за трое суток, кроме памяти.

Физически Вадим был стар, и тело сообщало ему об этом по утрам: осколок, оставшийся с Бамута возле позвоночника, просыпался раньше будильника и ныл ровно, терпеливо, как ноет старый дом. Но на нормативах он укладывался — не рекордно, а ровно: три километра — в своём ритме, без рывков, дыша, как учили двадцать восемь лет назад; подтягивания — без

рывков тоже; огневая — вот тут мальчишки замолкали. Он ложился с автоматом, и автомат ложился вместе с ним, и земля перед мишенями вставала дыбом ровной строчкой, без спешки, без лишнего. — Дед, — сказал рыжий парень из Рязани, — ты же из автомата, как из ложки ешь. — Из ложки, — согласился Вадим, — только не спеши, когда ешь. Поперхнёшься.

А вот небо пришлось учить заново.

Класс по дронам был в утеплённой палатке: экран, пульта, полдюжины аппаратов, похожих на больших стрекоз, и инструктор — гражданский парень в свитере, лет двадцати восьми, говоривший быстро и счастливо, как говорят люди о деле, которое любят. Он объяснял: вот корректировщик, вот ударный; вот так он висит; вот так его слышно; вот так он видит тебя, когда ты думаешь, что тебя не видно. Мальчишки схватывали на лету — они выросли с джойстиками в руках, для них небо было рабочей поверхностью. Вадим слушал, и внутри у него медленно, тяжело, как колонна по мосту, разворачивалась мысль: вся война его молодости ходила по земле. Смерть была на земле — в минах, в засадах, в пулях, которые летели от земли до земли, по прямой, на уровне человеческого пояса. Пригнись — и ты уже наполовину жив. Теперь смерть висела в воздухе. Она висела над тобой четыреста метров и смотрела вниз, терпеливая, как коршун над покосом, и от неё нельзя было укрыться за бруствером, потому что бруствер спасал только от того, что летит сбоку.

— Товарищ инструктор, — спросил Вадим на третьем занятии, — а если лежишь и не движешься? — Инструктор посмотрел на него с удовольствием человека, которого наконец спросили по существу. — Лежишь и не движешься — это уже полдела, отец. Вторая половина — чтобы тебя туда не положили заранее. Тепловизор-то не спит.

«Отец». Инструктор был младше его лет на двадцать и звал его «отец», и это было правильно, и Вадим, выйдя из палатки, поймал себя на том, что усмехается. Небо теперь тоже воюет, — думал он. — Ну что ж. Будем воевать с небом. Мы и раньше воевали с тем, что было: с зимой, с горами, с дорогами. Небо — просто новая гора. Только ходить по нему надо глазами.

Берёзу он нашёл на четвёртый день — за столовой, у забора из колючки: одна, между вышкой и мусоркой, белая, с чёрными прожилками, тонкая, лет двадцати от роду. Она не должна была там выжить — земля была утоптана в бетон ногами поколений, — но она стояла и уже пускала клейкие листочки, важные, как письма. Вадим подошёл, тронул ствол ладонью — привычка старше его самого, — и ладони стало холодно и чисто. «Та самая», — подумал он, не объясняя себе, о чём мысль, потому что мысль была не про слова. Все берёзы — одна берёза. Стоит у Кузьминок, стоит в Дудкине над прудом, стоит здесь, у мусорки учебного центра, между колючкой и вышкой. Мать говорила с берёзами — он знал; он сам не умел, но стоять рядом умел.

В нагрудном кармане, слева, под сердцем, лежали два листа бумаги, и он носил их, не перечитывая, как носят крест: письмо девяносто пятого года, собранное по слову, как собирают осколки, — и берёзовый лист, сорванный в Дудкине в марте, перед эшеленом, тонкий, уже не зелёный, а прозрачный, сухой, живой. Карман был его домом в доме.

Ночью за неделю до выпуска не спали: мальчишки шёпотом говорили о разном, и кто-то спросил в темноту: — Дед, а страшно там? Вадим лежал на втором ярусе, глядя в панцирную сетку, на которой держался матрас, и отвечал честно, потому что врать в темноте бесполезно: — Страшно. Кто говорит «не страшно» — тот там ещё не был или уже не вернётся. Страх — как вода: его нельзя выпить заранее, но можно носить с собой и пить по глотку, когда сушит. — Помолчали. Потом тот же голос, младше: — А ты нас научишь? — Приучу, — сказал Вадим. — Копать научу. Слушать научу. Молчать научу. Дальше — сами.

Он сказал это и услышал со стороны — Циркуля: «ты — выносчик». Так называл его сержант Циркунов девяносто девятого года, учитель труда из Тулы, на войне учивший его тому же самому: ровно, терпи, выноси. Голос друга, не услышанный полгода, — Циркуль сам ушёл

добровольцем осенью, в другую часть, — прозвучал внутри, как из соседнего окопа, и Вадим повернулся на бок и уснул.

Утром семнадцатого апреля объявили построение с вещами. Плац был пуст и огромен, рассвет уже кончился, солнце стояло над вышками низко и светило сквозь пыль ровным белым светом. Вадим стоял в шеренге вторым от правого фланга — место, которое дают старшим, — и смотрел, как бежит по плацу его тень, длинная, в полный рост, и как за ней бегут, перекликаясь, тени мальчишек. За столовой, у колючки, стояла берёза и блестела новыми листьями на весь учебный центр, на всю землю, на всю его жизнь.

«Ну вот, — подумал он спокойно. — Собрались».

Глава Пятьдесятая. Эшелон

Эшелон был не тот и тот.

Не тот: вместо тёплушек, в которых его поколение ехало на юг в девяносто четвёртом, — пассажирский состав, списанные плацкартные вагоны с зашоренными окнами; вместо тушёнки из термоса — сухпай в целлофане; вместо гитары — у каждого в кармане своя, тонкая, светящаяся: телефон. И всю дорогу, от запасных путей до самого юга, вся рота — семьдесят человек — смотрела в эти маленькие огни: кто в кино, кто в переписку, кто в карты, и Вадим, сидя у окна, смотрел на них и думал, что вот она, главная перемена: тогда — везли молчание, теперь везут шум. Семьдесят человек несли с собой на войну свои миры — семьи, чаты, группы, — и война начиналась у каждого не с выстрела, а с рассылки: «пишите, не пропадайте».

Тот: закат за вагонами.

Он увидел его на вторые сутки, где-то за Воронежем, когда поезд шёл юго-восточным ходом и солнце садилось справа, за насыпью, за полями. Он смотрел в окно — стекло было грязное, в известковых потёках, — и солнце шло вниз, и небо делалось тем, чем оно делалось всегда на его войнах: сперва жёлтым, потом оранжевым, потом — багровым снизу и синим вверху, и в этой синеве всплывала первая звезда. Тот же закат висел над эшелоном девяносто четвёртого — он помнил его, шестнадцатилетней давности, сквозь щель теплушки; тот же — над эшелоном девяносто девятого. Закаты не стареют. Закат — это то, что на войне остаётся от мирного времени нетронутым.

— Дядь Вадим, — окликнул его сосед по купе, Лёха-Кабан, здоровенный мужик под сорок, с ломаным носом таксиста и добрыми глазами, — а вы правда два раза уже были? Ну, там?

— Правда, — сказал Вадим.

— И как оно?.. — Лёха не договорил, махнул рукой. — Ладно. Сам увижу. Чего спрашивать-то, всё равно не расскажете.

— Расскажу, — сказал Вадим. — Спрашивай. Только тут, — он кивнул на купе, на мальчишек, на телефоны, — вслух не надо. Потом. На месте.

Кабан — позывной у него уже был, приклеился в учебке за привычку всё ломать и чинить: кабан ломает — кабан чинит, — кивнул и замолчал. Он был из Тулы, таксист, оставил дома жену и дочь-школьницу; телефон его, старый, с треснутым экраном, был забит одним-единственным видео: дочь читает стихи, кривляясь и краснея. Он показывал это видео Вадиму в учебке, раз пять, всякий раз как впервые, и Вадим каждый раз смотрел до конца и каждый раз говорил: «хорошая. На маму». — «На маму, — соглашался Кабан счастливым басом. — На маму».

Так они и ехали: рота, дорога, закаты. На больших узлах состав стоял по два-три часа, и разрешали выйти — на перрон, размяться; и Вадим, шагая вдоль состава в своей вытертой «цифре», ловил на себе взгляды провинциальных перронов: женщины смотрели — по-разному: кто с испугом, кто с жалостью, кто — как на сына; старик в кепке, торговавший семечками, — по-отечески, строго: «сынок, закурить есть?» — и, получив «не курю, отец», кивнул уважительно: «молодец. Курить — стрелять мешает».

На одном из узлов — он потом не вспомнил, на каком, все узлы слились, — случилась сцена, которую Вадим запомнил на всю оставшуюся жизнь.

Состав стоял. Рота высыпала на перрон. И вдруг — от привокзальной площади, от остановки — отделилась женщина: пожилая, в плаще, с сумкой. Она шла вдоль состава, вдоль их цепочки, — шла и смотрела в лица, искала. Мальчишки замолкали, провожая её глазами. Она дошла до середины перрона, остановилась против Вадима — самый старший, сама статность, — и спросила громко, просто, по-человечески:

— Сынки. А вас туда надолго?

Перрон затих. Кто-то из молодых открыл рот — ответить уставно, — но Вадим шагнул вперёд, чуть, полшага, и ответил ей так, как отвечал когда-то её сверстницам на чеченских дорогах:

— До конца, мама. До конца и домой.

Она постояла, кивнула — медленно, по-хозяйски, как кивают матери, принимая ответ, — достала из сумки пакет: яблоки, десятка два, — и сунула ему в руки. И пошла дальше, вдоль состава, — а навстречу ей уже вставали, уже тянули руки, уже совали — кто конфету, кто сигареты, кто просто ладонь, — и она шла сквозь строй, маленькая, старая, и раздавала, раздавала, — и Вадим стоял с яблоками в пакете и чувствовал, как горят глаза. «Вот она, — думал он. — Вот она, вся страна, вот весь её вклад: яблоки и «до конца и домой». Всё остальное — слова».

Яблоки съели всей ротой, по одному на брата, вечером, на большой воде, — и они были лучшие яблоки этой войны.

Вечером того же дня Кабан залез к нему с разговором — подсел на нижнюю полку, приутился, большой, осторожный, как садятся медведи, и спросил вполголоса: — Дядь Вадим... а покажи, как ты тогда, в первую... ну, матерям писал. Первое письмо — как? А то я первое написать не могу... — Он запнулся, поправился: — Не знаю, как начинать. Чтобы она не заплакала.

— Не пиши, чтобы не заплакала, — сказал Вадим. — Пиши, как есть. Мать плачет не от слов. Мать плачет от того, что ты далеко. А письмо — это ты, рядом, на кухне. Понял?

Кабан думал долго, шевеля губами, потом кивнул и достал телефон — не писать, показывать: на треснутом экране дочь, лет одиннадцати, с косой, стояла у новогодней ёлки и пела — конфузясь, краснея, с завываниями, — песню про школу, и Кабан смотрел на неё поверх телефона, снизу вверх, лицом в четверть экрана, и лицо у него было — всё, что у него было. — На «Новый год», — сказал он сипло. — Это она мне. Одна, сама, без никого. Я, — он поискал слово, — я это с собой, прям... если что. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Вадим. И понял.

А про своё первое письмо он думал потом, в темноте, пока рота засыпала. Проводов, как в девяносто четвёртом, не было: мать не поехала на станцию — она проводила его раньше, по-своему, в Дудкине, в роще над прудом, куда они съездили вдвоём перед самой учебкой. Она ходила между берёз медленно, трогала стволы, как здороваются, а у своей — высокой, с двойной вершиной — постояла долго, спиной к нему, и сказала наконец, не оборачиваясь: — Я тебя не отговариваю. Отговаривать — это я бы тебя держала. А Горских не носят, Горских — держат, — ты это и так знаешь. Я тебя отпускаю, как отец бы. Только пиши. Бумагой пиши, не этой трубкой: голос передаёт горе, а бумага — терпение. — И он обещал. И она уже ждала его писем — бумажных, крупными буквами, — и он знал, что ждать ей теперь два года, а может, и дольше, и что кувшин, в котором она носит воду горя, закрыт плотно и откроется один раз — если. «Если» — слово, которое на войне не произносят.

В нагрудном кармане, под сердцем, лежал конверт девяносто пятого года — другое письмо, другая женщина, несбывшееся, — и берёзовый лист, сорванный в той роще в марте. Он не трогал их всю дорогу. Не время было. Но чувствовал — обоих, как чувствуют рёбра, когда дышит.

А ночью, на третьи сутки, связь кончилась.

Это произошло не разом — по степям, по глухим однопуткам, станция за станцией, гасли сети: сначала пропала одна, потом другая, потом — все, и телефоны семидесяти человек разом показали одно и то же: «нет сервиса». И с этим «нет сервиса» в вагоне стало — тихо. Настоящая тишина въезжала в вагон, как въезжают в тоннель: сначала перестали светиться экраны, потом — разговоры, и стало слышно, как стучат колёса, как гудит состав на стыках, — и Вадим,

лежа на второй полке в темноте, слушал этот стук и чувствовал: вот. Вот сейчас они все — вернулись. Вернулись в его время, в его девяносто четвёртый: в тишину, в стук, в ожидание. Телефоны погасли — и войны стало — поровну. Теперь у всех — одна на всех: за окном, на юге, без сети.

Он лежал и слушал. Где-то внизу Кабан ворочался, скрипя полкой; кто-то из мальчишек вздыхал во сне — тонко, по-детски; состав нёсся в темноте, и стук колёс складывался в слова, как складывался всегда: «туда-туда, туда-туда». Впереди была война — третья в его жизни, — и он ехал на неё, сорокасемилетний, с тетрадкой выучки, с берёзовым листом у сердца и с семьюдесятью чужими сыновьями вокруг, которых ему предстояло — учить, беречь и выносить.

«Туда-туда, — стучало. — Туда-туда».

Он уснул — и во сне увидел берёзу: не дудкинскую, не плацовскую — просто берёзу, белую, в чистом поле, под огромным небом. Она стояла и ждала. Он проснулся на рассвете: поезд тормозил, за окном вставало солнце — красное, из-за земли, — и голос из коридора, молодой, сонный, говорил-докладывал кому-то:

— Приехали, братва. Приехали.

Глава Пятьдесят первая. Нулевая Линия

Их выгрузили на рассвете, в чистом поле, где стоял только хлебный комбайн без колёс и горела в холодном небе одинокая звезда, — и повели пешком, колонной, шесть километров до ротного опорного пункта. Шли по грунтовке, по чернозёму, ещё весеннему, влажному; над полями стоял туман — не высокий, по колено, — и колонна шла в нём, как в молоке, и верхняя половина людей была в рассвете, а нижняя — в ночи. Вадим шёл в голове колонны и слушал. Тяжесть в воздухе чувствовалась сразу, за версту, — так в детстве чувствовалась гроза: ещё ничего нет, а уже давит. Где-то далеко, размеренно, как работа, гудело — не то гром, не то машины, — и на этом фоне юг неба вспыхивал иногда короткими тёплыми вспышками, беззвучными, далёкими, как фотографирование чужого праздника.

— Тихо как, — сказал Кабан за спиной. — Я думал — громче.

— Это и есть громче, — сказал Вадим. — Дальше будет громче некуда. Иди.

Рота заняла позиции к полудню. Опорный пункт стоял на высотке над балкой: хода сообщения, перекрытые щели, блиндаж с накатом в три бревна, — и, главное, — тихо, глубокая траншея полного профиля, вырытая, судя по траве на бруствере, ещё прошлым летом. До противника, сказал Граф, майор, командир роты, ровесник Вадима, сухой, с сеточкой у глаз, — было четыреста метров. Четыреста метров — и где-то там, в зелёнке и промзоне, в траншее, такой же точно, сидели люди, которые имели все возможности и все причины стрелять.

— Вот, — сказал Граф, — ваши дома. Насмотритесь на них — я в штаб. Учите людей, Горских. Ты тут старший по опыту, я — по должности. Вместе справимся.

«Нулевые линии» — так эти позиции назывались у всех, и Вадим, услышав название, понял его сразу, нутром. Ноль — это когда сближения нет и отступления нет: ты стоишь вплотную, дыша в затылок врагу, и вся твоя жизнь теперь помещается в четыре метра матёрого брустверного грунта и в глубину щели. Между ними и противником лежало поле — вспаханное, с горелыми остовами техники, — и поле это было миновано, свои подходы и чужие, — и Вадим ходил первый день вдоль всей траншеи и запоминал: вот проход, отмеченный колышками и кашей протоптанных следов; вот ложбина, простреливаемая насквозь; вот два окопа со следами «ёжиков» — противотанковых ежей, ржавых, ненужных тут, перекатившихся сюда из другого, старого времени.

Первый день прошёл в обустройстве. Вадим учил, и учение это было старше всех войн: копать — поглубже, с запасом под себя, а не «как у всех»; бруствер — выше головы, когда стоишь; полку в нише — под локоть, чтобы спать сидя и вставать без рук; воду — не в одну бочку, а в три, и в трёх местах; ложиться при звуке — не бегом, а вбок, за угол хода сообщения, потому что бегущего видит и снайпер, и дрон. Мальчишки слушали. Кабан, здоровенный, ломал лопату о мёрзлый ком и ругался так, как ругаются на войне, — музыкально, с раскатом, — и Вадим, не улыбаясь, сказал: — Лопату береги. Здесь лопата дороже автомата. Автомат здесь есть у всех, а жизнь — не у всех.

— А правда, дядь Вадим, — спросил вечером Сынок, худой, быстроглазый парень две тысячи второго года рождения, самый младший во взводе, приставленный к Вадиму «в сыновья полка» за быстроту и смыслённость, — правда, что они ночью приходят?.. Ну, втыкать...

— Правда, — сказал Вадим. — Поэтому ночь — не для подвигов. Ночь — для слуха. Ложитесь спать по очереди, и чтобы один всегда слушал. Уши здесь — главнее глаз. Глаз видит четыреста метров, а ухо слышит всё.

Он говорил и слышал самого себя — со стороны, из другого года. Так говорил им Захарченко на учебке в Балтийске; так говорил Циркуль в девяносто девятом, на второй войне, когда Вадим, двадцатитрёхлетний, думал, что всё уже умеет. Циркуль тогда водил их ночью по склонам — «слушать местность», — и останавливался, поднимал ладонь, и все стояли в темноте по

пять минут, по десять, и он потом спрашивал: «Что слышал?» — и каждый слышал своё: кто ветер, кто камни, кто шаги, которых не было. «Вот, — говорил Циркуль, — это и есть служба. Слушать то, чего нет, пока оно не пришло». Вадим тогда сохранил это в себе как монету; теперь монету пора было отдавать. Он смотрел на Сынка, на других, на эти новые, непривычные к тишине лица — и понимал, что стал теперь тем, кем были для него Захарченко и Циркуль: передатчиком. Раньше других погибнуть — единственный способ уйти с этой должности. Он отогнал мысль, как отгоняют со стола крошки: на позиции — не думать о том.

Вечером они сидели у ниши, ужинали из котелков, и Сынок попросил: — Дядь Вадим, а расскажи, как оно... в первую. Ну, вообще. Один раз только. — И Вадим, подумав, рассказал — не про страх и не про геройство, а про землю: как его, зелёного, научили в девяносто пятом одному простому делу — не бегать. — Бежит человек — он уже мёртвый, просто ещё не знает. Идёт — живой. Мы вот с вами теперь ходячие. Все. Целый взвод ходячих. — Мальчишки засмеялись — нервно, но по-настоящему, — и смех этот в траншее, на четырёхстах метрах от чужих автоматов, был правильнее всяких слов, и Вадим разрешил ему звучать.

Дежурства «по небу» он поставил с первого дня — сам, никого не спрашивая. Каждые два часа, светлое время, один человек с биноклем и с глазами вверх: смотрел небо — не на восток, не на запад, а вверх, на зенит, где противник висел и работает. Слово «работает» тут было главным глаголом: небо работает — значит, идёт корректировка, жди удара; небо чистое — значит, чистое относительно. Он сам стоял первую неделю по три смены в день, и глаза его, возрастные, уставали, но опыт — не уставал: он слышал дрон раньше, чем мальчишки видели, — по звуку, по тишине птиц, по собственному затылку.

Первый обстрел пришёл на девятый день.

Было около четырёх дня, солнечно, ветрено; сушили после дождя снаряжение, и Вадим как раз проверял ячейки на стрелковых постах, — когда началось. Сначала — звук, тот самый, приглушённый стук-перещёлкивание миномёта за противником, за высотой, — и тело сработало раньше имени: он был в щели, в два счёта, без мысли, без решения, и голос его уже командовал, ровный, скучный, домашний: — Миномёт. Всем в щели. Не высовываться. Считать.

Земля дрожала. Она дрожала, как дрожала двадцать восемь лет назад под Бамутом, — всем пластом, всем полем, и грязь сыпалась с потолка блиндажа, и где-то бился, звенел, срывался котелок, — и Вадим лежал, прижавшись щекой к холодной земле, и земля говорила с ним на старом языке, единственном, который она знала: «сейчас... сейчас... сейчас...». Он считал разрывы. Память тела, не спрашивая его, накрывала собой всё: вот плеск — значит, калибр малый; вот с сухим треском — значит, ближе; вот молча, толчком в живот земли, — значит, вот он, рядом, — и он слышал, как рядом, в соседней нише, дышит, захлёбываясь воздухом, Сынок, и говорил ему — не оборачиваясь, ровно, как говорили с ним самим когда-то: — Дыши. Просто дыши. Вдох — выдох. Это просто погода. Погода — и пройдёт.

«Погода» — слово из первой войны. Циркуль научил: обстрел — погода, её нельзя пережить усилием, её переживают дыханием. Сынок дышал — рвано, страшно, но дышал, и на счёте «девять» всё кончилось: замолчал миномёт, осела пыль, и наступила та особенная, воробьиная тишина после обстрела, когда тишина — не отсутствие звука, а звук отдельный, самый громкий.

— Всем пересчитаться! — крикнул Вадим, поднимаясь. — По одному! Громко!

Пересчитались. Все. Ни царапины — повезло: били не по ним, а по высоте, по площадям, по расписанию чужой войны. Мальчишки стояли бледные, некоторые — с дрожью в руках, и Кабан, белый вокруг рта, сказал уважительно, отплёвываясь: — Ни...чего себе погодка у вас тут. — А Вадим смотрел на них и понимал главное, то, что нельзя было сказать вслух: сегодня они получили первую прививку. Малой кровью. Так выходит не всегда и не со всеми — но сегодня вышло.

Он подошёл к брустверу и посмотрел на поле, на четыре сотни метров вспаханной, заминированной земли, за которыми в зелёнке сидели такие же люди. Солнце уже шло к вечеру, и тени от «ёжиков» легли на землю длинные, прямые, как чертёж, — и вдалеке, над промзоной, висел, не двигаясь, чёрный крестик — корректировщик. Небо работало. Вадим снял каску, вытер лоб и подумал — спокойно, по-рабочему, как думают о предстоящем деле: «Ну что. Приехали. Теперь — жить».

Жить на нулевой линии значило копать, слушать и молчать. Он умел всё это лучше многих — потому что его учили те, кого не было уже в живых, а он, выжив, выучил. Теперь очередь была его.

Глава Пятьдесят вторая. Фруктовая Роща

В конце апреля роту подняли по тревоге и отвели на сутки в тыл, в посадку, где при свете маскированных фонарей штаб командира батальона разворачивал карты на капоте «уазика». Задача была простая до неприличия, как всё самое опасное: впереди, в полутора километрах, у канала, стоял опорный пункт противника, который наши солдаты между собой называли «фруктовая роща» — по тёмному пятну старого сада на аэрофотоснимке. Рощу требовалось взять. Штурмовая группа — шестнадцать человек, два отделения, — подход к броску на машинах, дальше пешком через посадку, артподготовка с четырёх утра, и — шаг за шагом.

Шаг за шагом. Вадим слышал это выражение от Графа и понял его не сразу. В его первую войну наступления назывались иначе и измерялись другими словами: выйти, сбить, закрепиться. Здесь же всё начиналось с неба и кончалось небом: сперва дроны висели над рощей неделями, вырисовывая каждую ячейку, каждый ход, каждую скамейку; потом артиллерия и тяжёлые огнемёты перемалывали один участок — не рощу всю, а кусочек её, метра три на три; и только потом входила группа — и брала этот кусочек. Три метра за день. Пять метров. Иногда — ноль, когда не получалось. Так война шла вперёд, как идёт корень сквозь камень: не прыжком, а наращиванием, медленным, нечеловечески терпеливым.

— Горских, — сказал Граф вечером, разбирая с ним список группы, — идёшь вторым. Не потому что герой. Потому что твои мальчишки пойдут ровнее, если ты в цепи.

— Понял, — сказал Вадим. И добавил, помолчав: — Если что — я вынесу. Не лезь первый.

Граф посмотрел на него долгим взглядом ровесника и кивнул. Между ними всё было понято без уставов.

Ночь перед штурмом Вадим спал четыре часа — по-конски, как научили когда-то, — и проснулся за час до подъёма от тишины. Он лежал в нише и слушал, как дышит взвод, и знал всех по дыханию: Кабан — басом, с подвыванием; Сынок — часто, по-птичьи; Граф — ровно, по-командирски. «Господи, — подумал он без слов, одними границами мысли, — пронеси. Не меня. Их». В нагрудном кармане, под бушлатом, лежали конверт и лист; он не трогал их и в этот раз. Потом все встали, пили чай без сахара, проверяли друг друга, и Вадим ходил вдоль цепи и затягивал ремни на чужих разгрузках — отцовская привычка, руки сами помнили, как это делается: сдёрнуть, проверить, похлопать по плечу. Плечо понимало лучше слова.

Артиллерия начала в четыре десять.

Она работала по роще сорок минут, и это было похоже на работу фабрики: ровные, размеренные, вселенского масштаба удары, от которых дрожала земля в посадке и сыпалась с листьев роса. Небо на востоке к этому времени уже серело — та полоса между ночью и днём, когда мир ещё не решил, каким ему быть. Когда огонь был перенесён в глубину, Граф поднял цепь, и они пошли.

Полтора километра прошли по мёртвой земле. Вадим видел войну и раньше, но такой чистой работы не видел никогда: поле перед рощей было перепахано — не в переносном смысле, а буквально, как перепахивают огород, — и в этом перепаханном чёрном лежали, врас-тая, обгорелые остовы то ли броневика, то ли трактора. Пахло гарью, землёй и чем-то сладковатым, чего Вадим знал источник и на что не смотрел. Цепь шла шаг за шагом: десять шагов — залечь, слушать, — десять шагов — залечь. Вадим шёл вторым и считал не шаги, а головы впереди и позади: голова Графа, голова Сынка, голова Кабана; все на месте; идём.

Дроны появились над полем, когда до рощи оставалось метров триста.

Их было видно сразу — по тому, как насторожилась цепь. Маленькие, серые, ростом с дрозда, они висели над деревьями и над полем, висели и перелетали, и звук их был тонкий, комариный, свербящий — звук, от которого через месяц войны у всех сводило скулы. Вадим

лежал в борозде и смотрел, как один, неторопливо, описывает круг над полем, — и вдруг понял, на что это похоже. На Дудкино. На пруд его детства в июльский полдень, когда над тёплой водой стоят, трещат, висят стрекозы — синие, прозрачные, — каждая над своим местом, каждая высматривает внизу своё. Он смотрел на дрона, и дрона не было: была стрекоза над прудом, и вода блестела, и отец стоял на берегу в закатанных брюках и говорил: «не дёргайся, сынок, они боятся движения». Здесь всё было так же — только со смертью: внизу, под каждой стрекозой, лежал человек, и стрекозе было всё равно, который из них дёрнется.

— Не двигаться, — прошелестел по цепи голос Графа. — Лежим. Работает «курган».

«Курган» — их станция подавления, прикрывшая подход, — загудела где-то позади, невидимая, и дрон, описавший круг, вдруг пошёл вбок, в сторону, теряя управление, и упал в бурьян за каналом. Второй поднялся выше и ушёл. Небо очистилось — на время. «Всё, — подумал Вадим. — Вот теперь — бегом». И цепь, повинувшись взмаху руки Графа, встала и побежала — не онемевшими от страха людьми, а одной, слаженной, звериной тягловой силой, вразвалку, низко, — и Вадим бежал вторым и слышал за спиной топот и дыхание своих, и это было правильное звучание мира.

Первый окоп они взяли без выстрела: в нём после огневого вала оставались только земля и то, что было раньше людьми. Второй окоп — дальше, за садом, — отвечал. Сам собою, будто включили рубильник, начался автоматный бой: короткие очереди, крики, хлопки подствольников, — и Вадим, прижатый к брустверу вишнёвой ямы, старой, довоенной, чувствовал, как война становится обыкновенной: руки сами делали всё, чему их учили тридцать лет, — перебежка, упор, очередь, снова перебежка. Тело помнило. Тело было старое, сорокасемилетнее, с осколком у позвоночника, — но оно помнило эту работу лучше, чем любую другую работу его жизни.

Рощу зачистили к полудню. Из шестнадцати человек трое были ранены — легко и средне, осколками, — и ни один не убит. Вадим перевязывал Сынка, распоровшего бедро осколком арматуры, и парень, стиснув зубы, повторял: — дядь Вадим, я же нормально, я же шёл... — и Вадим, затягивая бинт, говорил ему то, что положено: — Шёл. Видел. Молодец. Сейчас полежишь — и дальше шёл.

А потом наступила тишина — та, боевая, полная, когда всё живое в радиусе версты молчит, и только земля дымится. Вадим сел у вишнёвой ямы, спиной к стволу, и посмотрел на небо. Небо было уже дневное, высокое, майское, и в его выси, в тёплом мареве, висели, не тая, две белые полосы — следы чьих-то самолётов, которым не было дела до рощи. «Вот, — подумал он устало и ясно. — Первый. Первое «шаг за шагом». Это не война его молодости, — понял он тогда окончательно. — Та война была бегом: от леса к лесу, от камней до камней. Эта — корнем. Медленно, кровно, на три метра в день. И небо на ней воюет вместе с землёй».

Солнце поднималось к полудню, и жара первой майской волны уже трогала лицо. Вадим закрыл глаза на минуту — и увидел пруд: стрекоз, блеск, отца в закатанных брюках, берёзу на том берегу, высокую, с плакучими ветвями, трепетавшую от тёплого ветра. Он открыл глаза: берёзы не было — был сад, разбитый, обгорелый, с висящими на ветках оборванными проводами. Но внутри, там, где память хранит главное, берёза стояла. И он знал, что она будет стоять.

Глава Пятьдесят третья. Вода

Лето пришло на войну так же, как приходило всегда, — сразу, всем весом, без предупреждения. Ещё в мае дожди мазали чернозёмные дороги до состояния катка, а в июне солнце встало над степью хозяином и больше не садилось до самой осени — только меняло угол. Степь выгорела за три недели: зелень ушла из травы, как уходит краска из ткани, оставшейся на солнце; остались пыль, полынь и жара, густая, осязаемая, стоявшая над балками как стеклянная стена. Термометр в тени блиндажа показывал за сорок, но тени на позиции было четыре метра на человека — по числу метров бруствера.

Вода стала золотом. Не фигурально — по весу, по цене, по всему. Привозили её в автоведрах и армейских флягах раз в двое суток, с риском, потому что водовозы были любимой целью противника: он бил по дорогам снабжения методично, с наслаждением, — и потому каждая цистерна приходила уже своей собственной биографией: эта — обстреляна на подъезде, эта — застревала, эта — привезла вдвое меньше, потому что треть слили соседям на кипятки, у которых было ещё хуже. Воду берегли, как берегут патроны в окружении: литр — питьё, литр — кухня, пол-литра — зубы и лицо, и ни капли — на мытьё. Кабан, похудевший до размеров просто крупного мужчины, говорил про это коротко: — Я двадцать лет таксистом — я бензин берёг. Теперь я воду берёг. Смена одна.

Вадим устроил водный распорядок по науке старых войн: пить — маленькими глотками, часто, не ждать жажды; флягу — держать у тела, в тени, обёрнутой мокрой тряпкой; колодец в балке — запретить, потому что колодец на нейтральной полосе — это не вода, это удочка. Мальчишки первое время ворчали, потом поняли: на жаре ошибок не бывает, бывают похороны. Один раз Сынок, посланный с флягами к пункту водоносности, рванул через открытое напрямую — и вернулся под перекрёстным свистом пуль, целый, оглушённый, — и Вадим, не повышая голоса, сказал ему всё; сказал коротко и страшно, как говорят не командиры, а отцы, — и Сынок тогда впервые заплакал на войне, и Вадим, отчитав, обнял его за мокрую шею одной рукой и сказал уже другим тоном: — Живой. Всё. Иди пей. По глотку.

Слово «Батя» прицепилось к Вадиму в те недели — сначала как «дядя Вадим», потом, по солдатской экономии, — короче. Началось с Кабана: тот, большой, немолодой, сорока четырёх лет, никак не мог называть сверстника-сослуживца по званию и выворачивался: «товарищ сержант» — в строю, «дядя Вадим» — в жизни, а в работе, в бою, когда требовалось быстро, само вылетало: «Батя, слева!», «Батя, воду несут!». За июль так стали звать все — от Сынка до Графа, и Граф, майор, командир роты, однажды сказал на разборе, в присутствии всех: — Позывной «Батя» закрепляю за Горских официально. Короткий, всем понятный. И правильно: кто, если не он. — Вадим принял это молча, кивнул; только внутри у него что-то повернулось, медленно и тяжело: «Батя». Захарченко в учебке был «Батя». Циркуль был «Батя» — для своих, тульских. Теперь он. Круг замкнулся так ровно, что и сопротивляться было нечему: должность передаётся, как передаётся лопата, — из рук в руки, тем, кто остаётся.

Летом взвод жил по распорядку, похожему на распорядок монастыря, — если бы монастырь работал ночами. Днём — спать, чесаться, беречь силы; в сумерках — жизнь: копали, носили, чинили, обучались; в темноте — работа: выводы, минирование, наблюдение. Вадим вёл свои «курсы» — час в сумерках, без конспектов, на любой теме, которую подсказывала вчерашняя ночь: как слышать миномёт по плеску и как отличать свой плеск от чужого; как лежать под дроном; как не смотреть на разрыв — смотреть на землю рядом; как выносить раненого одному, если второго нет; как прощаться, если не вынес. Последнюю тему он вёл один раз, и больше её не требовалось: молодые слушали, опутив головы, и молчали, и молчание это было глубже клятв.

В конце июля в их роту перевели из другой части пополнение — пятеро, все младше Вадима лет на двадцать пять, — и старший этих пятерых, гладкий, надушенный сержант из тыла, первые сутки всё пытался понять, кто здесь главный после Графа. На вторые сутки он увидел, как Вадим — просто, без команды, по-хозяйски — выправляет у новичков окопную ячейку, поправляя лопату в чужих руках, как поправляют чужому ребёнку шапку; увидел, как на слово «Батя» оборачиваются трое из разных концов траншеи, — и перестал понимать, поняв всё. — Разрешите обратиться, — сказал он вечером, официальным тоном, — товарищ сержант, возьмите и нас... под опеку. — — Бери воду — иди копай, — ответил Вадим. — Опека тут одна: глубже копаешь — дольше живёшь.

Августовский закат в тот вечер стоял над степью немыслимый, ненастоящий — из тех, за которые на гражданке платят фотографам и путешествиями. Солнце садилось в пыльной дымке, и диск его был огромен, багров, и вся западная четверть неба горела — от жёлтого внизу до малиновоговерху, — а пыль, поднятая за день колоннами и ветром, лежала в воздухе горизонтальными полосами, и в этих полосах свет ходил волнами. Вадим стоял на наблюдательном посту и смотрел на это богатство, и думал о том, что закат прекрасен всегда — и над Дудкиным прудом, и над пепелищем. Красота не выбирает, где ей гореть. Ей всё равно, что под ней: вода или война, — горит и всё. Он стоял, и солнце таяло в его глазах, и не было в нём ни мысли, ни тоски — одна только жажда смотреть, как смотрят на уходящее.

— Батя, — сказал рядом Сынок, появляясь из хода сообщения, — ужин. И там... вода пришла. Полторы бочки.

— Полторы, — повторил Вадим, отрываясь от заката. — Золото. Идём.

Полторы бочки в тот вечер сделали всех богатыми: впервые за неделю умылись с плечами, и Сынок, зарядившись настроением, обрил Кабану затылок машинкой, и Кабан сидел на ящике, голый по пояс, белый от пыли и счастливый, как медведь в реке, и рассказывал — в десятый раз, но всякий раз как первый, — как дочка его в прошлом году сама, без матери, записалась в школьный хор и как на концерте забыла слова и стояла, красная, а потом взяла и запела заново, с начала, и никто в зале не засмеялся, потому что все ждали. — Вот это — характер, — говорил Кабан, поворачивая голову под машинкой, — это, Батя, не характер — это порода. Мать у неё такая. Я так не могу: я бы расплакался и ушёл.

— А она встала и запела, — сказал Вадим.

— Встала и запела, — повторил Кабан счастливо.

Сынок стриг, мальчишки слушали, солнце уходило. Когда оно село совсем, в пыльной дымке над западом остался свет — ровный, литой, — и в середине его, над самой землёй, висело, не тая, солнце-повторение: маленькое, круглое, золотое, как медаль на груди неба. Вадим смотрел на него из траншеи и думал, что такую медаль выдают за то, что дожил до вечера, — и что дают её каждому, без представлений и приказов, каждый божий день.

— Медаль, — сказал он вслух, ни к кому не обращаясь.

— Чего? — не понял Кабан.

— Солнце, — сказал Вадим. — Смотри, пока дают.

Они пошли по траншее в сумерках, и над головой у них, в темнеющем небе, вставала первая звезда, и где-то далеко, за противником, вполголоса работала артиллерия — не по ним, мимо, по чужому счастью, — и жизнь была простая, как полтора литра воды в день: копай, слушай, молчи, выноси. Вадим шёл и чувствовал в кармане, слева, под сердцем, два своих листа — старый конверт и берёзовый, — и думал, что мать уже написала ему первое письмо — бумажное, крупными буквами, через волонтёров, — и что письмо это где-то едет к нему уже вторую неделю, и что вот так, наверное, и ездят по свету все слова всех матерей: медленно, надёжно, поверх всех фронтов.

Глава Пятьдесят четвёртая. Небо Работает

Осень изменила войну второй раз за год. Летом она была войной жары и пыли — война солнца, выжигающего траву и глотки; осенью она стала войной неба. Это поняли не сразу, а когда поняли, то уже нельзя было жить по-прежнему: небо работало. Так и говорили — «небо работает» — и все понимали, что это значит: вверху, в четырёхстах, в семистах метрах, висели глаза, и глаза эти не мигали и не спали.

Осень вообще была подходящая погода для неба: дожди кончились, воздух выстоялся, прозрачный до рези, и в таком воздухе дроны летали далеко и видели глубоко. Над позициями теперь висели постоянно — волнами, посменно, как несут вахту: одно гудение сменялось другим, и по звуку Вадим уже различал, кто наверху, — как различал когда-то по плеску миномёты. Тихий, ровный, мошкиный звук — корректировщик, «мавик»: он не убивал сам, он висел и смотрел, и оттого был страшнее всех. Тонкий, злой, нарастающий вой моторчика на пике — «эфпиви»: тот прилетал убивать. Между ними лежала вся новая война: один смотрел, другой бил; и не было от них укрытия ни в окопе, ни в блиндаже, ни в полудне пути.

Вадим смотрел на это глазами человека, у которого было с чем сравнивать. В его первую войну смерть ходила по земле. Она была в минах под ногами, в пулях по поясу, в осколках, летевших от земли до земли; она была в засадах на дорогах, в растяжках в дверях, в снайпере в окне — и против неё были простые, крестьянские средства: копай глубже, ходи шагом, смотри под ноги, слушай землю. Земля была полем боя, и земля же была защитой. Теперь смерть висела в воздухе. Она прилетала сверху, вертикально, в слепую зону любого бруствера, и никакая лопата против неё не помогала. Против неё помогали сеть, «курган», ложный окоп и запас дистанции — и то не всегда. — Раньше, — говорил Вадим молодым, — надо было уговорить землю. Теперь — небо. А небо, сынки, не уговоришь. У неба просьб не принимают.

Изменились и ночи. Раньше ночь была союзником: ночью можно было всё — носить, менять, хоронить, прорываться; ночь прятала. Теперь ночь светила. Дроны с тепловизорами снимали тьму, как плёнку, и в приборе ночного видения человек в поле был не тенью, а фонарём: тёплое пятно на холодной земле, видно за версту. Ночь перестала быть передышкой войны и стала её продолжением, только с другими красками. И всё же ночь оставалась — ночью хотелось жить.

В конце сентября у них на позиции случилась ночь, которую Вадим запомнил целиком, не по кускам.

Стояла та осенняя ясность, какая бывает в Донбассе в начале осени: воздух чист, как стекло, небо чёрное, плотное, и звёзды в нём — крупные, низкие, до горизонта, — как в детстве над Дудкиным прудом. Противник с сумерками начал «грелку» — сброс осветительных снарядов, — и над полем повисли, качаясь на парашютах, белые огни, и под ними нулевая линия лежала голая, стёртая, как тарелка. А потом с той стороны пошла стрельба — и не пулемётами: трассеры. Красные, толстые, снарядные, они шли поверх головы, из темноты в темноту, и каждая трасса оставалась в глазах длинным светящимся следом, и по этому следу можно было читать войну, как по строчкам: вот эта бьёт в молоко, вот эта — по высотке, вот эта прошивает сад и гаснет где-то в тылу.

Вадим стоял в траншее и смотрел вверх — на звёзды, на огни, на красные строки между ними, — и внутри у него было спокойно и грустно, как бывает на кладбище. «Вот, — думал он, — как в первую войну. Тогда тоже были ночи со звёздами и трассами; тогда мы тоже лежали и смотрели на это, и Санёк говорил: „гляди, салют“». — И память, не спрашивая, показала Санька: живого, мордастого, с чубом, лежащего рядом на бруствере девяносто пятого года и смеющегося в темноту. Двадцать восемь лет как убитому. Двадцать восемь лет — живому, пока Вадим помнит. Он стоял, и звёзды над ним горели до горизонта, и красные трассы летели под

ними, и между звёздами и трассами не было разницы: и те и другие были про смерть, только звёзды — про вечную, а трассы — про сегодняшнюю.

— Батя, — прошептал снизу Сынок, сидевший в нише, — а чего они палят-то? В никуда же.

— Так и надо, — сказал Вадим. — Ночь короткая, а страх длинный. Вот и палят, чтобы не молчала темнота. И мы бы палили, если бы нам сказали.

Он сказал — и услышал в собственных словах Захарченко, и Циркуля, и всех, кто говорил ему это когда-то, в другие ночи, над другими полями. Слова переходили из поколения в поколение, как переходят часы: идут — и передаются. Ничего нового на войне не было, кроме неба. Небо было новое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.